

Рассказ «Верую!» — камень преткновения в прозе Шукшина. А он и, правда, — камень, только краеугольный, глава угла. А «строители» нынешние, так же как и древние, камень этот отвергают.

Вот Владимир Крупин, первый лауреат Патриаршей премии по литературе, утверждает: «Рассказ «Верую» в самом деле очень безбожный. Огромный поп пьет спирт, закусьивает барсучьим салом, пляшет, кричит: «Верую в химизацию, электрификацию!» <...> Но, думаю, за великую любовь Шукшина к России, за наши молитвы о его душе, которые постоянны, душа его упокоилась у Престола Царя Небесного. Может, так дерзновенно думать, но был же и при жизни он защищен Божиим Промыслом» (Крупин В. Черная рука // Русский Дом. 2014. №7).

Вот и официальные лица в стороне не остаются: «... Такой он — мой Шукшин. Написавший нехристианский рассказ «Верую!» и снявший «Калину красную» — быть может, самый христианский фильм советского кинематографа» (Легойда В. // Фома. 2016. 2 декабря).

Отметим предварительно, что рассказ «Верую!» Василий Шукшин опубликовал в 1971 году. «Верую!» — не ученическая, не ранняя работа, это работа зрелого мастера. Это обозначено для того, чтобы исключить поиск всяческих случайностей в рассказе, скидок на то, что Шукшин еще чего-то не знал, чего-то не понял. Он, может быть, по-человечески и не все знал, может, и не все понимал, но как писатель — в пространстве художественного текста — был совершенен.

Есть и личное свидетельство Василия Макаровича об этом рассказе, и не учитывать личное свидетельство «добрые литературные нравы» (Ив. Бунин) нам не велят. Поэтому — учтем: «Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: «Взвыл человек от тоски и безверья.

Пошел к бывшему (?) попу, а тот сам не верит. Вместе упились и орали, как быки недорезанные: «Верую».

В беседе с корреспондентом итальянской газеты «Унита» 17 мая 1974 года на вопрос: «В сборнике «Характеры» есть рассказ «Верую!». Описанная в нем ситуация подсмотренная или выдуманная?» — В.М. Шукшин ответил: «В строгом смысле слова это все же выдуманная вещь. Выдуманная постольку, поскольку... опять же ситуация несколько крайняя, что ли. Но мне нравятся крайние ситуации. Вот поп, скажем... Для того чтобы извлечь искру, надо ударить два камня друг о друга... Мне нравится вот эта сшибка совсем полярных каких-то вещей. В рассказе «Верую!» мне показалось заманчивым вот столкнуть некие представления о жизни, совсем разные. И извлечь отсюда что? Вот что: мы получаем много информации ныне. Для того чтобы кормить наш разум, мы получаем очень много пищи, но не успеваем или плохо ее перевариваем, и отсюда сумбур у нас полнейший. Между прочим отсюда — серьезная тоска. Оттого, что мы какие-то вещи не знаем точно, не знаем в полном объеме, а идет такой зуд: мы что-то знаем, что-то слышали, а глубоко и точно не знаем. Отсюда... в простом сельском мужике тоска зародилась. А она весьма оправдана, если вдуматься. Она оправдана в том плане... в каком надо еще больше и глубже знать...»

Вот, собственно, и ответ автора судьям. Священник — бывший и сам не верит; «взвыл человек от тоски и безверья». Ну да — нехристианский рассказ...

Отметим и еще: «высечение искры», два камня, два характера — это лишь первый план рассказа. Очень легко увлечься первым планом и обмануться. Искры и, правда, летят. Но дело не в искрах. Рассказ Шукшина — хрестоматийный. Не просто там «христианский» (учитывая современные искажения в сравнении с Апостольскими временами Христианского вероучения,

следует говорить «Православный», так мы и будем делать далее). Рассказ «Верую!» — православный в самом строгом смысле этого слова. И для понимания глубин его содержания необходим не только жизненный человеческий опыт, не только опыт православного мирозерцания, но необходимо еще и святоотеческое понимание (знание, чувствование) природы добра и зла, веры и неверия, противостояния извечного: врага рода человеческого и добрых Божиих намерений в сердце человека. Необходимо при чтении рассказа содержать в себе святоотеческое понимание той борьбы, о которой говорил Достоевский: «Тугдьяволс Богом борется, а поле битвы — сердца людей».

Итак, «Верую!» — камень преткновения, камень соблазна.

«По воскресеньям наваливалась особенная тоска». Первая фраза рассказа концентрирует всю проблематику произведения — «воскресенье и тоска». Тоска — какая она? «Бессовестная» — главная характеристика тоски, а мы ее проскочили, думая, что автор «бабу» описывает («художество», думали мы, «финтифлюшки»), и читали дальше. А читать русскую литературу надо «медленно и погруженно» (так советовал Ф.А. Степун читать Ивана Бунина).

Читая же медленно и погруженно рассказ Шукшина, первое слово которого «по воскресеньям», а второе слово — «тоска», мы не можем не отметить в качестве третьего слова — «бессовестная». Тоска не просто одушевленная, она — действующая, то есть она не стоит на месте, она усиливает свое действие, развивает его, пытается овладеть героем. «Нутряная, едкая». Едкая — это не статичное определение, едкая, значит, — ест и будет разъедать дальше. Нутро будет разъедать, само существо человеческое. Это не тоска наваливается на героя, это наваливается смерть. И герой Шукшина — свободным выбором! — смерть не принимает, он противостоит смерти уже тем, что выбирает Жизнь. Но Максим Яриков не знает, как, выбрав Жизнь, еще и начать именно жить...

В первых четырех (!) строках рассказа Шукшина поставлена ключевая проблема православия: победы Жизни над смертью. В Воскресный день (символ победы Жизни над смертью), смерть, являясь в образе тоски, испытывает героя рассказа, пытается победить в отдель-

но взятой человеческой душе. Для смерти — это важнейшая победа. И для Жизни победа над смертью в одной человеческой душе — важнейшая победа.

Образ «смерти» явственно и однозначно прописан Шукшиным в первых четырех строках рассказа. Он не мог написать — «смерть наваливалась», взял символ смерти (в православном мирозерцании) — тоску. На то и правдивость и художественность русской литературы, чтобы говорить все как есть, работая с образом. Бессовестная баба, пытающаяся овладеть (!) героем — это смерть. В народном мирозерцании образ смерти — это женский образ. Но у Шукшина все — и проще и бесконечней (как и должно — во вселенной): «похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть» (Иак.1:15).

На первом плане рассказа бессовестная баба буквально склоняет героя «ко греху», в данном случае — блудному: ласкала, пыталась поцеловать. Для православного мирозерцания грех — это смерть, грех — причина смерти. Никак; но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди» (Рим.7:13). Здесь сложный святоотеческий смысл, но мы обратим внимание только на то, что сказано впрямую: «грех причиняет смерть», грех — причина смерти.

Далее в тексте появляется Сам Господь. Важно, что пишется с большой буквы. Понятно, что дело в знаках препинания, но знаки препинания ставил автор. Мог поставить «запятую» после «О», и пришлось бы — в советское время — писать с маленькой буквы...

«О!.. Господи... Пузырь: туда же, куда и люди,— тоска,— издевалась жена Максима, Люда, неласковая, рабочая женщина: она не знала, что такое тоска.— С чего тоска-то?»

Итак, уже в первых строках рассказа Шукшина представлена художественная оппозиция: тоска-смерть бессовестная, ласкала... И Жизнь — неласковая, рабочая женщина (хоть каждое слово подчеркивай). Как будто у Шукшина словарного запаса не хватало, чтобы через три строки повторять «ласковая-неласковая»? Автор пытается обратить внимание на это действительное противостояние. Голос жены героя — голос Жизни. Поэтому и Господь в начале слов жены, как слово Истины.

В этом проявляется мастерство Шукшина. Отсутствие у писателя фальши в Слове обеспечивает отсутствие фальши в смыслах. И как подтверждение — филигранно точно прописанный эпизод со сдержанным, но готовым сорваться с губ героя матом.

«Максим Яриков смотрел на жену черными, с горячим блеском глазами... Стискивал зубы.

— Давай матерись. Полайся — она, глядишь, пройдет, тоска-то. Ты лаяться-то мастер.

Максим иногда пересиливал себя — не ругался. Хотел, чтоб его поняли».

Но это не просто очень точная картинка. Автор продолжает концентрировать сущности одной и другой сторон «конфликта». И эти стороны не муж и жена. Это дьявол с Богом борется, это смерть пытается взять реванш в День Воскресения Христова (в православном мирозерцании — каждый Воскресный день есть Торжество Воскресения Христова). И в рассказе Шукшина жена — не просто на стороне Жизни, а сама Жизнь — «неласковая, рабочая».

Герой-муж уже весь под навалившейся тоской-смертью... Но мат — одно из проявлений врага рода человеческого — сдержан. В том числе и благодаря жене сдержан. То есть герой не сдаётся все-таки, барахтается, пытается «пересилить» себя и тоску...

Десять предложений рассказа, а какая сила характеров, какая сила письма — «ничего лишнего!», какая «страсть» (пафос) конфликта. Искры правды летят, а внешне — всего лишь перепалка утренняя мужа и жены...

И в этой «перепалке» Василий Макарович Шукшин ставит проблему «существования души». Напомним, время — начало 70-х, советское — неизбежно: Бога — нет, души — тоже нет... Есть! — говорит Шукшин...

Читаем дальше.

«А тогда почему же ты такой злой, если у тебя душа есть?

— А что, по-твоему, душа-то — пряник, что ли? Вот она как раз и не понимает, для чего я ее таскаю, душа-то, и болит, А я злость поэтому. Нервничаю.

— Ну и нервничай, черт с тобой! Люди дождутся воскресенья-то да отдыхают культурно... В кино ходят. А этот — нервничает, видите ли. Пузырь».

С точки зрения работы со словом и смыслом — бле-

стящая, артистическая работа Шукшина. Начав рассказ с Воскресения, он и вступление воскресным днем завершает, отсылкой к воскресному дню. Начав с тоски и образа смерти — бессовестной бабы, «навалившейся» на героя, автор и завершает вступление, называя вещи своими именами. Из уст жены прозвучало «Господи», из уст жены звучит и «черт с тобой». Жена, вроде бы сторону Истины являет в рассказе, а как же тогда — «воскресенье» и «отдыхают культурно... В кино ходят»... Какая же здесь Истина?

По Воскресеньям русскому человеку надо в Церковь идти, на Божественную Литургию, а не в кино. «Ходят» — слово намеренно искажено... Про Церковь не скажешь — «ходят», а в кино именно — «ходят». Здесь не ошибку речи подчеркивает Шукшин. Шукшин подчеркивает важнейшую ошибку в устройении русской жизни советского времени — отсутствие Церкви в жизни народа.

Да, душевная маета героя — пустая; «пузырь» — искушение в терминах православного мирозерцания. Но то, что болящей душе некуда идти (кино — не лечит, а Церкви — нет), — вот сущностное в зачине рассказа.

Читаем дальше.

«Максим останавливался у окна, подолгу стоял неподвижно, смотрел на улицу. Зима. Мороз. Село коптит в стылое ясное небо серым дымом — люди согреваются. <...> Люди — по домам, в тепле. Разговаривают, обед налаживают, обсуждают ближних... Есть — выпивают, но и там веселого мало.

Максим, когда тоскует, не философствует, никого мысленно ни о чем не просит, чувствует боль и злобу. <...> И водку пить не хочется — не хочется быть посмешищем, противно. Случалось, выпивал... Пьяный начинал вдруг каяться в таких мерзких грехах, от которых и людям и себе потом становилось нехорошо. Один раз спьяну бился в милиции головой об стенку, на которой наклеены были всякие плакаты, ревел — оказывается: он и какой-то еще мужик, они вдвоем изобрели мощный двигатель величиной со спичечную коробку и чертежи передали американцам. Максим сознавал, что это — гнусное предательство, что он — «научный Власов», просил вести его под конвоем в Магадан. Причем он хотел идти туда непременно босиком.

— Зачем же чертежи-то передал? — допытывался старшина. — И кому!!!

Этого Максим не знал, знал только, что это — «хуже Власова». И горько плакал.

В одно такое мучительное воскресенье Максим стоял у окна и смотрел на дорогу. Опять было ясно и морозно, и дымились трубы.

«Ну и что? — сердито думал Максим. — Так же было сто лет назад. Что нового-то? И всегда так будет. <...> И все? А зачем?»

Во-первых, герой Шукшина кается. Это именно покаяние, да — пьяное, но «в таких мерзких грехах, от которых и людям и себе потом становилось нехорошо». Нехорошо становилось потому, что в русской жизни покаяние возможно обращать только Богу, только в Православной Церкви как таинство Исповеди, все остальное и будет — нехорошо. Изобретение двигателя — это, конечно, не трезвые мысли, здесь, шукшинская улыбка о заплутавшем в русском человеке. Это улыбка и добрая и горькая и сострадательная и открывающая человеку советского времени Надежду! Надежду на спасение души.

Во-вторых, «хуже Власова» — это крайняя точка падения, символ предательства. Реабилитация символов невозможна, на то они и символы, отражающие концентрированную сущность реалий Бытия. Что такое «хуже Власова»? Это хуже всех людей, хуже всех возможных преступников. То есть, раз речь идет о покаянии — самый грешный из всех людей, даже — хуже, чем Власов, более грешен. Иными словами, святоотечески в православном миросозерцании: «Вѣрно слово и всякаго пріяitia достойно, яко Христось Иисусъ прійде въ мѣръ грѣшники спасти, от нихъ же пѣрвый есмь азъ» (1Тим.1: 15).

Да, герой рассказа пьян, да его покаянию грош цена. Но это покаяние, и Максим Яриков — искренен. Да, про двигатель это неправда, это слова, но это и не ложь, это самооговор, сочинительство. А вот идти «под конвоем в Магадан. Причем он хотел идти туда непременно босиком», — искренний порыв. И это подражание, жажда подражания православному подвижничеству. Многие наши святые блаженные, бывшие в земной жизни Христа ради юродивыми, не носили обуви. Потом: идти «под конвоем», то есть в узах — страдание, а «идти босиком» — это повышение степени страдания. Страдание как искупление греха — добровольное страдание (ответ

на голос совести, «путь очищения»).

Рассказ Шукшина рифмуется с произведениями русской классики, с «Братьями Карамазовыми» в том числе: «А с другой стороны, совесть-то? От страдания ведь убежал! Было указание — отверг указание, был путь очищения — поворотил налево кругом. Иван говорит, что в Америке «при добрых наклонностях» можно больше пользы принести, чем под землей. Ну, а гимн-то наш подземный где состоится? Америка что, Америка опять суета! Да и мошенничества тоже, я думаю, много в Америке-то. От распятыя убежал!»

Могут возникнуть сомнения, не «притягиваем» ли мы сейчас контекст русской литературы к шуточному описанию Шукшиным пьяных бредней своего героя? Нет. И текст Шукшина тому свидетель. Что может быть хуже предательства Родины? Кто может быть хуже Власова? Иуда? Предательство Христа страшнее предательства Родины? Да, это так, в православном миросозерцании. России нет без Православия. Христос, Церковь — Православная и Родина есть одно, вместе. Но если делить, то предать Христа еще страшнее, чем Родину. Однако в рассказе «хуже Власова» — это не Иуда. Здесь другой, принципиально иной, образ. Да, тоже предательство, предательство Христа, но — какое?

«И помяну Пѣтръ глаголь Иисусовъ, речѣнный ему, яко прѣжде даже пѣтель не возгласитъ, трикраты отвѣржешися Менѣ. И изшедъ вонъ плакася горько» (Мф. 26:75).

Горько плакал — плакал горько. Дословный повтор Евангелия от Матфея в рассказе Шукшина «Верую!».

Нет? Хорошо, пусть — «нет», тогда — сравним: «Он третий раз отрекся. И после этого раза тотчас же запел петух, и Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые он сказал ему на вечери... Вспомнил, очнулся, пошел со двора и горько-горько заплакал. В евангелии сказано: «И исшед вон, плакася горько». Воображаю: тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания...» (А.П. Чехов «Студент»).

То есть все, что сказано выше, — это не концепция, не интерпретация, не предположение, это медленное, скрупулезное погружение в текст и раскрытие его действительного содержания.

Продолжим чтение.

«Максим пошел к Лапшиным.

Илюха с попом сидели как раз за столом, попивали спирт и беседовали. Илюха был уже на развезях — клевал носом и бубнил, что в то воскресенье, не в это, а в то воскресенье он принесет сразу двенадцать барсуков.

— Мне столько не надо. Мне надо три хороших — жирных.

— Я принесу двенадцать, а ты уж выбирай сам — каких. Мое дело принести. А ты уж выбирай сам, каких получше. Главное, чтоб ты оздоровел... а я их тебе приволоку двенадцать штук...».

Итак, в условно второй части рассказа сразу — «воскресение». И символика цифр, выявленная нами ранее. Просто пока обратим на цифры внимание «двенадцать» и «три». При чем «двенадцать» повторяется с пьяной настойчивостью (то есть художественно оправдано). Но автор — трезвый, и мы должны трезвиться: цифры как минимум настораживают, слишком очевиден их Евангельский контекст.

Обратимся теперь к портретной характеристике «попа». Он — шестидесятилетний, крупный, руки огромные. Глаза — ясные, умные. Взгляд — пристальный и нахальный. Сам поп — не благодный, не постный.

На вопрос Максима: болит ли душа у верующих, — поп не отвечает. Ответить — тем самым причислить себя к «верующим». Максим попа причисляет к верующим, но ответного подтверждения не получает. Максим настойчив в своем вопросе, но говорит уже не о верующих, а конкретно — «у тебя болит душа». И вновь — уход от ответа.

Важно понять состояние Максима. Он задал два вопроса об одном и том же, ответа не получил. Но в итоге — с попом очень интересно. Тоска сменилась интересом. Можно бы принять смену состояний души как некоторое «преображение» героя. Но не будем торопиться, просто запомним.

И далее. «Поп» заговорил с удовольствием, но характер и содержание его речи автор определяет как «странный, далекий и безответственный». Последнее слово особенно важно — безответственный.

Поп рисует якобы «картину мироздания», он делает это так, что Максиму «интересно». Трижды в отрывке варьируется этот смысл: Максиму интересно. А ведь ему все наскучило, все — отсюда и тоска его. И вдруг — ин-

тересно. Не скучно, а интересно. Боль души, подлинная боль, сменяется интересом. Хорошо это или плохо для души — это еще вопрос.

И мы можем видеть в тексте рассказа, как Максим вроде бы и заинтересован, но в то же время (это не сказано, но проступает в действиях Ярикова), герою неуютно (так, кажется, можно определить его состояние). Маркер здесь: слушал «с интересом», но «поинтересовался для вежливости» (вновь повтор однокоренных слов, полагаем, что это мастерство Шукшина, как и «ласкала-неласковая»). Если слушаешь с подлинным интересом, о вежливости просто забываешь. Из вежливости спрашивают, когда скучно. Интерес Максима показной? Ему или скучно или неуютно слушать речь «попа»? Может быть, отсюда и сущностный вопрос героя: «Разве такие попы бывают?»

Действительно, так «странно и безответственно» не может говорить ни служитель церкви, пусть бы и бывший. Речи же «попа» — это речи совсем иного порядка. Их даже нет смысла разбирать. В словах «попа» поставлен с ног на голову, перевернут весь порядок мироустройства, отраженный в Библии. Именно невольно перетолкован, а перевернут.

В словах «попа» — не «картина мироздания», а нахальная и безответственная ложь, умной — вне всякого сомнения — головы. Именно умной, потому что одно дело человек запутался, другое дело — лжет. Умной, потому что он, наконец-то, отвечает на вопрос о боли души: у меня тоже болит, ты пришел по адресу; умной, потому что обещает герою — «покой души» (умной, потому что не предлагает готовых ответов). И тут же дает их — «мы обречены»... Ничего себе покой души!

«Поп» не запутался, он лжет Максиму нахально и безответственно и — важно! — с удовольствием лжет. Но Максим, при всем его простодушии, подвох чувствует: разве такие попы бывают... Несмотря на весь ум, умственную ловкость «попа» Максим ему не доверяет.

Но «поп» на то и умный: его инструментарий обольщения меняется. Он даже льстит Максиму: хорошо, что болит душа, ты хоть зашевелился. Предлагает — верь в жизнь. Но какая это жизнь: «крайне интересно бежать со всеми вместе, а если удастся, то и обогнать других...» Бежать и обогнать — крайне интересно? Но Максим опять начеку: куда бежать-то? Оказывается, это не важно.



Вот ложь о смысле жизни — беги и старайся быть первым. И точно, скучать будет некогда: будет уже ни до добра, ни до зла. Интересно, что на протяжении всего разговора герои пьют спирт, причем, распоряжается выпивкой «поп». Однако речь Максима на удивление трезвая: «Что-то я не чувствую, чтобы устремлялся куда-нибудь». Здесь тончайшая шукшинская ирония. И это ирония героя над «умным» «попом». И «поп» понимает, что Максим практически смеется над ним. Отвечает жестко, на грани оскорбления и тон беседы обостряется.

Но главное — Максим, вновь, как минимум, не уступает «попу». Более того, если в первом отрывке беседы итогом было недоумение: разве такие попы бывают; то второй отрывок завершается более определенно. Зубы героя стиснуты, взгляд горячий и злой. И — «въялся». Это уже серьезно.

Интересны характеристики речи «попа», начал он разговор с удовольствием, а здесь уже говорил громко, лицо пылало, вспотел.

Максим долго держался. Но душа его уловлена все-таки через «святое» для русского человека — через Есенина, через песню. Так с третьего раза «поп» победил. И Максим «перестал понимать, где он и зачем».

Заслуживают особого внимания последние строки рассказа: «Оба, поп и Максим, плясали с такой с какой-то злостью, с таким остервенением, что не казалось и странным, что они - пляшут. Тут — или плясать, или уж рвать на груди рубаху, и плакать, и скрипеть зубами».

И далее следуют совсем страшные, без всякого преувеличения, строки:

«— За мной! — опять велел поп.

И трое во главе с яростным, раскаленным попом пошли, приплясывая, кругом, кругом. Потом поп, как большой тяжелый зверь, опять прыгнул на середину круга, прогнул половицы... На столе задрезжали тарелки и стаканы.

— Эх, верую! Верую!..».

Вновь, восхищает мастерство Шукшина, беспощадная обнаженность жизни. «Зверь» — вот и названо существо, весь рассказ таившееся в деталях. Существо, чья ложь нахальна и безответственна.

Теперь можно и напомнить Новый Завет: «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (От Иоанна, 8:44).

Ложь — это тоже маркер. Существо названо. И как названо: «большой тяжелый зверь»... И это, конечно, еще — как какой-то обратный «катарсис» — «прыгнул на середину круга»... Действительно, страшно...

Можно ли спорить с тем, что Шукшин выводит в рассказе «образ зверя» в Евангельском именно контексте? Спорить с этим можно, но что делать с фактами текста. Есть маркеры, художественные маркеры рассказа «Верую!» и в целом маркеры художественной системы Шукшина.

И прямо «накануне» названия «зверя» есть такой маркер. Он в «частушечном» переборе, сопровождающем дикую пляску. Частушечный перебор читатель толком и не прочитывает — там бессмыслица, набор звуков и слов. А надо прочитать:

«Эх, верую, верую!

Ты-на, ты-на, ты-на — пять!

Все оглобельки — на ять!

Верую! Верую!

А где шесть, там и шерсть!

Верую! Верую!»

Вот, собственно, какие здесь еще нужны доказательства? А «где шесть, там и шерсть»... И на девятнадцатой строке от «шести» и «шерсти» появляются «зверь» и «прыгнул». Еще вспомним характеристику «яростный и раскаленный»: прямо как «сковородка в преисподней», которой он и призывал не бояться.

Вновь обратимся к Новому Завету:

«Откровение, 13. — 2 Зверь, которого я видел, был подобен барсу; (...) 5 И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно (...) 6 И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе (...) 18 Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть».

В очередной раз убедимся, как Новый Завет блестяще «прорастает» в рассказе Шукшина: «барс» —

«барсуки»; характер речи – «безответственный»; и отверз уста свои для хулы на Бога; и – число, число.

Итак, Шукшин выводит в рассказе образ зверя, выводит в Евангельском очевидном смысле. И это не предположение, не интерпретация, а однозначный факт. Да, Шукшин говорит здесь не только об этом. Но выявленный в нашем разборе образ присутствует в тексте. Насколько он следствие художественной интуиции, насколько осознанная работа в контексте Нового Завета? Думаю, что рассказ Шукшина – это результат осознанной работы писателя, ведомого, конечно, и художественной интуицией, инстинктом Истины.

Удивительный Шукшин (!), раб Божий Василий, в рассказе «Верую!» в самый разгар социализма взял да и вывел на сцену врага рода человеческого, показал его манеры и уловки, предостерег простодушно-го русского человека: Ванька, смотри!

Семидесятые годы... Бога в официальном пространстве жизни – нет, дьявола тоже нет. А в неофициальном пространстве – в избе у Ильюхи, вот он пьет спирт и улавливает неопытные души. Чтобы написать такой рассказ, автору требовалось мужество гражданское, человеческое, писательское.

Мне возразят: никого Шукшин на сцену не выводил. Мало ли кто себя за попа выдает, да и попы всякие бывают, просто напились герои рассказа, болтают, что ни попадя, пляшут, орут...

Но и это «Верую!» в названии рассказа... В электрификацию что ли верую? В тайне заглавия – ключ к рассказу «Верую!». Заглавие по определению – важнейшая часть текста. На призыв «попа»: «Молись!», Максим отвечает по-русски просто: «Пошел ты!..» Даже с уловленной душой Максим понимает, что это за «молитва». Он не намерен повторять... Но повторяет одно единственное слово «Верую!» Повторяет Максим искренне, «потому что ему очень понравилось это слово». Не просто «понравилось», а «очень понравилось». А «дальше», про «электрификацию» и т.д., «поп» «блажит» «один». Это подчеркнуто автором рассказа.

Предполагаю, что именно «Верую!», выстраданное и произнесенное Максимом слово (а не блажь попа), ставит Шукшин в заглавии рассказа. Устами

Максима произнесено: «Верую!» И устами русского писателя Шукшина произнесено: «Верую!» На всю страну и на всю литературу произносит Шукшин: «Верую!»

Это гражданская позиция и Исповедание Христа. И те, кому это надо было понять, это поняли. Недаром Шукшин в разговоре с Василием Беловым говорит: «я расшифровался». Понятно, что он говорит не об этом именно рассказе. Но и о рассказе, думаю, тоже...

Все, что происходит с рабом Божим Василием, есть уже не просто судьба и жизнь, но – брань, духовная брань. Брань Евангельская: «потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной» (К Ефессянам, 6:12).

Эта брань всегда идет в жизни человека, и в ней есть рубежи. В этой брани есть свобода выбора человека. Шукшин выбирает открыто и явно: «Верую!» И тем самым оказывается по правую сторону Креста Христова. И тем самым вызывает огонь на себя.

«Огонь» даже не каких-то конкретных людей и явных разрушительных сил, хотя и люди эти, и силы эти были и есть. Шукшин вызывает на себя именно этот «огонь» духов злобы поднебесной. Уже поэтому было бы очень правильно позднее творчество Шукшина рассматривать как духовную брань. ■